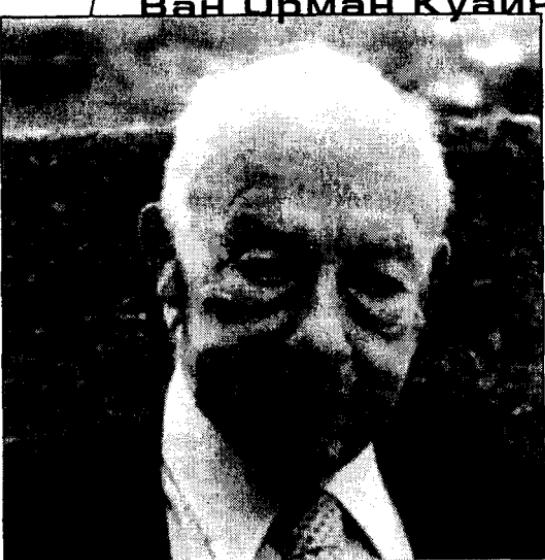


Логика XX века:

**Уиллард
Ван Орман Куайн**



Уже в 1965 году, всего лишь через пять лет после выхода в свет книги Уилларда Ван Ормана Куайна «Слово и объект» («*Word and Object*»), критики назвали ее «наиболее дискуссионной книгой в американской философии после Второй мировой войны». Родившись в 1908 г. в г. Экроне, штат Огайо, и достигнув зрелости, Куайн в течение нескольких десятилетий играл важнейшую роль в международной философии. Содействуя эмиграции идей и авторов Венского кружка на американскую почву перед началом Второй мировой войны, Куайн наложил на эти идеи собственный теоретический отпечаток, выражавший местный pragmatism и бихевиоризм.

Путь, который привел Куайна в 1933 году в Вену и к логическому позитивизму, оказался поступательным походом на Восток от великих американских равнин через Гарвардский университет, в котором за два года он закончил докторантуру под руководством Альфреда Н. Уайтхеда, одного из соавторов «*Principia Mathematica*». Его пребывание в Вене, а затем в Праге позволило ему познакомиться со всеми выдающимися представителями Венского кружка — от Рудольфа Карнапа до Ганса Рейхенбаха и от Морица Шлика до польского математика Альфреда Тарского. Это общение вскоре привело к возникновению мощной интеллектуальной волны, которая не только связала Куайна с логическим позитивизмом, но и через него оказала влияние на современную американскую мысль. Из своей Гарвардской цитадели, в которой он преподает вот уже сорок лет, Куайн непрерывно рассыпает искры плодотворных идей, оказывающих фундаментальное влияние на развитие аналитической и постаналитической философии.

После своего возвращения из Европы в 1934 году Куайн в течение десяти лет работал над одной из центральных проблем Венского кружка — над вопросом о роли логики в обосновании математики. Именно этой проблеме, а также некоторым разработкам в теории множеств, посвящена его статья «Новые обоснования для математической логики» (1937 г.), а также вышедшая позднее книга «Математическая логика» («*Mathematical Logic*», 1940 г.). Благодаря Куайну эта первая теоретическая работа была осуществлена в Гарварде, в который, начиная с 1939 г., потянулись представители европейской логики, включая Карнапа, Рассела и Тарского. Некоторые из них по политиче-

ским и расовым причинам навсегда остались в Соединенных Штатах.

После войны, на которую Куайн отправился добровольцем и три года служил в военно-морском флоте, он принял решение не разрабатывать «какого-то отдельного направления в философии». Появление его статьи «Две догмы эмпиризма» («*Two Dogmas of Empiricism*») дало толчок бурному развитию постаналитической философии. В этой статье Куайн попытался разрушить два главных опорных пункта Венского позитивизма, в частности, фундаментальное различие между аналитическими и синтетическими суждениями, на которое опирались исследования позитивистов, претендующие на научность.

Согласно авторам Венского кружка, производство объективного знания может опираться только на аналитические суждения. В самом деле, поскольку у них отсутствует эмпирическое содержание (например, «Если идет дождь, то идет дождь»), только они оказываются необходимы истинными утверждениями. Не говоря ничего относительно реальности, аналитические истины основываются только на семантико-синтаксических свойствах языка. Напротив, синтетические суждения являются апостериорными и случайными утверждениями. Действительно, истинность суждений типа «В таком-то месте и в такое-то время идет дождь» зависит не только от лингвистических факторов, но и от той реальности, о которой они говорят.

Опираясь на pragmatism, отстаивающий «холистский характер экспериментального контроля», Куайн доказывает, что нельзя провести четкого разграничения этих двух типов истин. Верно, конечно, что синтетические суждения истинны только благодаря тому, что мир устроен определенным образом, и что обобщения проверяются только посредством верификации их конкретных следствий. Но отнюдь не несомненно, что аналитические суждения, даже если они организованы в такие системы, как логика или математика, и не зависят от эмпирической реальности, опираются только на чистую логику. Истинность чисто логического суждения «Каждый *x* есть *x*» обусловлена тем, что *x* ничего не обозначает и ничего не влечет, в то время как истинность суждения «Каждый холостяк неженат» больше зависит от значения входящих в него слов, чем от чисто логической формы. Поэтому понятие аналитичности нужно определять через понятие синонимии, а последнее,

считает Куайн, не может служить основой для проведения ясного и бесспорного различия между аналитическими и синтетическими суждениями. Таким образом, критерий различения аналитического и синтетического остается прагматическим.

Начиная с написания статьи «Две доктрины эмпиризма» (1951 г.) и до выхода в свет в 1960 г. книги «Слово и объект», Куайн продолжает разрабатывать теорию языка. В эти годы большое значение для него имело знакомство с выдающимся представителем бихевиоризма, работавшим в Гарварде, психологом Б. Ф. Скиннером. Благодаря общению со Скиннером, Куайн разработал поведенческую теорию усвоения языка, из которой получил один из своих наиболее оригинальных и дискуссионных тезисов о «неопределенности перевода». Этот тезис Куайна парадоксальным образом утверждает, что можно сформулировать несколько несовместимых между собой «руководств по переводу», каждое из которых, однако, соответствует коммуникативным возможностям родных языков различных собеседников.

Эти соображения привели Куайна к открытию важного аспекта логического дискурса, которым пренебрегали члены Венского кружка, — к онтологии. Карнап полагал, что вследствие разграничения «аналитического—синтетического», «внутреннего—внешнего» ученый исследует мир, а философ занят изучением логической структуры языка, описывающего мир. Куайн же, напротив, объявил ошибочным такой способ действий, при котором некоторую систему признают точной и фундаментальной и, в то же время, отвергают сущности, к которым она относится. Начиная с работы «Онтологическая относительность» (*«Ontological Relativity»*, 1969 г.), Куайн создает истинную онтологическую теорию, опираясь на ту идею, что онтологическое исследование должно придерживаться некоторого минимума — того минимума, который необходим для доказательства точности и фундаментальности системы.

* * *

Учитывая историческое значение Ваших теорий, о Вас часто говорят как об «отце» американской философии послевоенного периода, но не чувствуете ли Вы себя также «сыном» культуры Соединенных Штатов?

Математическая логика, моя подлинная любовь, не пользовалась популярностью на этом берегу Атлантики, в конце прошлого столетия ее центрами были склоны Альп — Германия и Италия. В 1910—1911 годах *«Principia Mathematica»* Рассела и Уайтхеда не имела большого влияния в Соединенных Штатах. До Второй мировой войны центрами разработки этой новой дисциплины были Германия, Польша и отчасти Австрия благодаря символичной фигуре Курта Гёделя. В проникновении математической логики в Соединенные Штаты важную роль сыграл Алонзо Чёрч и именно благодаря ему, после его возвращения в 1932 году на родину со степенью доктора философии, полученной в Гётtingене, эта дисциплина стала все более широко вводится на философских факультетах. Я возвратился из Европы через год после него, и мы были первыми пропагандистами математической логики — Чёрч в Принстоне, а я — в Гарварде. В последующие годы, до войны и после нее, большое чисто эмигрантов, изгнанников и политических беженцев сделали Соединенные Штаты центром математической логики.

Если интерес к математической логике не является распространенным в Америке, то что послужило источником Вашего интереса к столь абстрактной области, которая представляется почти мистической, в чем-то похожей на трансцендентальное созерцание предпосылок мышления?

Как часто бывает в жизни, это явилось результатом случайного стечения обстоятельств. Во время обучения в колледже я никак не мог решить, что выбрать для специализации — философию, математику или лингвистику. Совершенно случайно один из более старших студентов как-то упомянул *«Математическую философию»* (*«Mathematical Philosophy»*) Берtrandра Рассела. Для меня это была любовь с первого взгляда. Оказалось, что можно объединить все мои интересы. Я решил специализироваться по математике и написал дипломную работу по философии математики, которая со временем стала математической логикой.

Следовательно, отправным пунктом для Вас был Рассел?

Да, и наряду с ним Буль и даже Джуппе Пеано, «Математический формуляр» (*«Formulario Mathematico»*) которого я впервые прочитал по-французски.

А логики американской традиции, например, Чарльз Сандерс Пирс?

Сначала я пропустил Пирса. Сомневаюсь, что я даже слышал о нем, когда учился в колледже. Его не было в списке работ, которые мой профессор рекомендовал мне для изучения. И только когда я приехал в Гарвард для занятий в аспирантуре, я начал знакомиться с Пирсом. Джордж Сардон, издатель ежеквартального журнала по истории науки, называемого *«Isis»*, попросил меня дать рецензию на логические работы, включенные в *«Собрание сочинений»* (*«Collected Papers»*) Пирса, которые как раз тогда начали публиковаться издательством Гарвардского университета. Я отрецензировал второй, третий и четвертый тома этого издания и, таким образом, познакомился с творчеством Пирса, хотя с точки зрения логики я приобрел не слишком много. Но я научился видеть историческую перспективу.

Как Вы относитесь к pragматической традиции, родоначальником которой можно считать Пирса вместе с Уильямом Джеймсом и Джоном Дьюи?

Трудно сказать, что такое pragmatism. Если рассматривать его как ветвь эмпиристской традиции, тогда — да, для меня он очень важен. Здесь, в Гарварде, мой учитель Кларенс Ирвинг Льюис называл себя «концептуальным pragmatistом». До поступления в колледж я случайно прочитал *«Прагматизм»* (*«Pragmatism»*) Уильяма Джеймса, поскольку эту книгу прислал мне брат. Затем, в период аспирантских занятий в Кембридже, я что-то прочитал из сочинений Юма, Локка и Беркли. Не думаю, что влияние на меня было исключительно американским, скорее, это было влияние на меня интернационального эмпиризма. Фактически я многим обязан Уайтхеду,

Рудольфу Карнапу, К. И. Льюису и польскому ученому Тарскому, оказавшему на меня влияние во многих отношениях. Я воспринимаю философию скорее в горизонтальной, чем в вертикальной плоскости.

По поводу Уайтхеда: в Италии он был весьма влиятельным автором в рамках «гуссерlianского ренессанса», начало которому положил Энцо Пацци в пятидесятые годы. И я бы сказала, что Уайтхед был больше известен как представитель «философии отношений», чем как логик.

Я встретил Уайтхеда в Гарварде в конце двадцатых годов, когда он был больше известен как соавтор Рассела по *«Principia Mathematica»*, а не как самостоятельный мыслитель. Свою докторскую диссертацию я писал под руководством Уайтхеда. Когда я с ним познакомился, он уже больше не работал в области логики, а читал лекции о процессах в реальности и уже написал *«Процесс и реальность»* (*«Process and Reality»*) и *«Наука в современном мире»* (*«Science in the Modern World»*). Я внимательно слушал его лекции, и его ученость произвела на меня большое впечатление, однако в философском отношении я больше научился у К. И. Льюиса. Но больше всего я приобрел, когда после получения докторской степени съездил на стажировку в Европу в 1932 году. Там я встретился с Рудольфом Карнапом сначала на собраниях Венского кружка, а затем в Праге.

Что Вам запомнилось о Вашей первой встречи с Карнапом?

Между нами с самого начала возникла духовная близость. Карнап оказался чрезвычайно щедрым и гостеприимным человеком, он использовал свои связи, чтобы найти пристанище мне и моей жене в Праге. Я ходил на его лекции, а когда их не было, добирался до его дома на окраине города и мы часами беседовали с ним. Я читал его новую книгу, которую печатали на машинке его жены, забирал с собой новые страницы, прочитывал их дома и на следующий день обсуждал прочитанное с ним. Мы до хрипоты спорили о том, что он писал, и

этот период оказался для меня чрезвычайно плодотворным. Я сделался пылким поклонником философии Карнапа до тех пор, пока через несколько лет не начал замечать трудности, встающие перед ней, и мои собственные идеи были стимулированы его взглядами. Он также осознавал трудности и изменил свои воззрения, однако его первоначальную позицию мы изменяли разными путями. Мы вели споры, обмениваясь письмами, которые вскоре будут опубликованы издательством Калифорнийского университета. До самого конца мы продолжали оставаться добрыми друзьями, и хотя по многим вопросам наши точки зрения расходились, от Карнапа я получил больше, чем от любого другого философа.

Кого еще Вы встретили в Венском кружке?

В Праге я встречался с Филиппом Франком, который позднее переехал в Гарвард. В Вене я познакомился в Морицем Шликом, Фридрихом Вайсманом и Куртом Гёделем, великое открытие которого только что было опубликовано. Моим контактам в Вене и беседам в Праге с Карнапом в очень большой степени помогло то, что я довольно бегло говорил по немецки. В Варшаве в это время занимались, главным образом, математической логикой, хотя она постепенно трансформировалась в философию логики. В Праге, благодаря Карнапу, царил чисто философский энтузиазм. Все это было, конечно, до прихода к власти нацистов.

Какое воздействие оказал нацизм на эту школу мысли?

Каждый, кого я знал, с самого начала испытывал перед ним страх еще до холокоста, еще до того, как стали происходить все эти немыслимые вещи. Антисемитизм в Вене проявлялся еще до прихода нацистов к власти. Происходили нацистские демонстрации, на стенах появлялись антиеврейские надписи, а когда нацисты одержали победу, стали происходить и вовсе скандальные вещи, например, они исключили Эйнштейна из Прусской Академии наук. Нацисты стали также издавать крайне расистский математический журнал «Немецкая математика» (*«Deutsche Mathematik»*). Когда они оккупирова-

ли Рейнскую область, стало совершенно ясно, что в сложившейся тяжелой ситуации нужно принимать какие-то решения. В 1938 году, когда я полгода провел в Португалии, мои друзья говорили мне о своем разочаровании британской политикой умиротворения и Чемберленом. Я не знал ни одного человека, который не был бы обеспокоен или возмущен нацизмом. Когда мне говорят, что люди не осознавали, до какой степени ухудшится жизнь при нацизме, я этому не верю. Конечно, мы не могли себе представить, насколько тяжелым станет положение, и не знали подробностей о лагерях смерти. Однако уже можно было ощутить крайний национализм и встретить множество людей, с воодушевлением относящихся к идее сильной Германии. Были злые и были просто глупые люди. Я был горячим сторонником вступления в войну Соединенных Штатов.

Какой была Ваша позиция в этой политической ситуации? Поддерживали ли Вы какой-либо вид «социальной деятельности»?

У меня была не только позиция, но и реакция. Я пошел добровольцем в военно-морской флот и стал офицером. Я не подлежал призыву в силу своего возраста и положения в Гарварде, где для преподавателей существовали особые льготы. Я чувствовал, что западная культура находится на грани краха, а все, что я делал, была философия логики. Такую деятельность, безусловно, можно было пока отложить. И в течение трех лет я ничего не читал ни по философии, ни по логике.

Это произошло уже после 1939 года, который Вы назвали великим годом для философского факультета Гарварда, где в то время собирались Берtrand Рассел, Альфред Тарский, Карнап и Венский кружок.

Я возвратился в конце 1933 года и был назначен на должность младшего научного сотрудника Гарварда. В 1938 году я стал преподавателем и навсегда остался здесь. Карнап приехал в 1934 году по случаю празднования трехсотлетия Гарварда. Я прочитал несколько публичных лекций о Карнапе в надежде на то, что Гарвардский университет возьмет его на работу, но у нас ничего не получилось, и он уехал работать в Чикагский

университет. Но пока Карнап был здесь, мы прекрасно проводили время. Тарский приехал в 1939 году, и мы нашли ему работу в городском колледже Нью-Йорка. Это были блестящие годы — с 1938 по 1941.

А какую роль во всем этом играл Берtrand Рассел?

Я встречал Рассела раньше и в течение нескольких лет переписывался с ним. Он приехал в Гарвард в 1931 году читать лекции. Уайтхед представил его слушателям и свел его со мной. Когда в 1934 году была опубликована моя первая книга «Система логистики» (*A System of Logistic*), я послал экземпляр Расселу. Он был очень открытым человеком. Я бережно храню его письма с похвалами и возражениями относительной этой первой моей книги. Я многим обязан Расселу — его логике и его философии и, в частности, его книгам: «Наше познание внешнего мира» (*Our Knowledge of the External World*), его «Введение в математическую философию» и, конечно, *Principia Mathematica*.

Рассел был не только логиком, но и философом, который в соответствии с традицией нашего века обнаруживал большой интерес к крупным политическим и социальным событиям. Во время Первой мировой войны пацифистские убеждения даже привели его в тюрьму, а впоследствии осуждение им американской интервенции во Вьетнаме привлекло к ней внимание мировой общественности.

В отличие от него я никогда не испытывал симпатий к социализму и коммунизму и мне особенно не нравились те идеи, которые он защищал на склоне лет, когда выступал против Соединенных Штатов и поддерживал Советскую Россию. До возникновения нацистской угрозы я не разбирался в политике и не был политически активным. Я бы вообще никогда не читал газет, но в 1932 году начал их читать.

Во время Вашего пребывания в Вене феноменология была обширным полем исследований. За три года до Вашего приезда в Австрию Эдмунд Гуссерль опублико-

вал свою «Формальную и трансцендентальную логику» (*Formal and Transcendental Logic*, 1929 г.), а во Фрайбурге его любимый ученик и последователь Мартин Хайдеггер уже работал над сочинением «Что такое метафизика?» (*What is Metaphysics?*), стимулировавшим отделение экзистенциализма от феноменологии.

Феноменологическая традиция никогда не привлекала меня. Я с трудом прочитал «Логические исследования» Гуссерля, но так и не смог понять его правил игры. Там многое обусловлено интроспекцией и термины его кажутся мне слишком неопределенными. Кое-кто пытался установить некоторую связь между моей философией и его феноменологией. Я никогда не верил в эту связь, хотя и понимаю, что очень разными путями Гуссерль и я занимались близкими вещами. Меня интересовало соединение бихевиоризма и нейрологии, а его — интроспекция.

Бихевиоризм интерпретировался как вариант pragmatизма для таких социальных наук, как педагогика, социология и психология. Что он означает для Вас — логика с математическим образованием?

Для меня бихевиоризм был важен всегда. Стетсону, моему профессору психологии в колледже, посвятил свою работу «Психология с точки зрения бихевиориста» (*Psychology from the Standpoint of the Behaviorist*) Джон Б. Уотсон. Затем, будучи в 1933—1936 годах младшим научным сотрудником здесь, в Гарварде, я познакомился с Баррусом Ф. Скиннером, который тоже был младшим научным сотрудником. Мы сделались большими друзьями, много говорили о великих проблемах и, когда были вместе, чувствовали себя бихевиористами. Я думаю, однако, что бихевиоризм не дает окончательного объяснения, хотя методологически он неустраним. Важно исследовать нейрофизиологический механизм некоторого интроспективно идентифицируемого ментального состояния или ментального процесса. Вам нужно выразить этот процесс в объективно верифицируемых и понятных терминах, поэтому вы должны обратиться к поведенческим критериям, чтобы сформулировать проблему, для решения которой вы собираетесь обратиться к нейрофизио-

логии. Точно так же обстоит дело в медицине. В случае инфекционного заболевания вы ищете определенный микроорганизм, но вы идентифицируете эту болезнь не с помощью микроорганизма, а с помощью симптомов. Вербальное поведение представляет собой симптом: оно включает в себя симптомы mentalityных состояний аналогично тому, как медицинские симптомы дают критерии для нахождения микроорганизма, ответственного за болезнь.

Насколько Ваша позиция отличается от классического бихевиоризма, в частности, от бихевиоризма Скиннера?

Мы со Скиннером разделяем фундаментальное положение о том, что объяснение — пусть не самое глубокое, но все-таки приемлемое — возможно на чисто поведенческом уровне. Можно надеяться найти, и я думаю, это будет сделано, поведенческие закономерности. Например, в экономике вы можете сформулировать понятие безработицы, не редуцируя этот экономический феномен к поведению отдельных людей, что было бы совершенно непродуктивным. Важные закономерности лежат на другом уровне. В психологии это уровень поведения.

Ваша мысль о том, что существует некоторое множество конвергирующих повторений — от мельчайших до самых больших — по-видимому вписывается в органическую концепцию. Фактически именно Вы ввели понятие, чрезвычайно близкое организму — философский «холизм», с точки зрения которого любой организм, биологический или физический, должен быть понят как некая органическая целостность, а не как простая сумма его частей.

Холизм соединяет различные гипотезы, теории, убеждения, истины, и даже когда имеют в виду что-то одно, другие элементы тоже получают поддержку. Карнап вполне оценил это, положительно отзавившись о Пьере Дюгеме, который вместе с Пуанкаре и Милхаудом был основателем конвенционализма. Однако, как и другие члены Венского кружка, Карнап не уделил достаточно внимания следствиям холизма: он понимал, что

можно вывести дополнительные гипотезы, поддерживающие холизм, но упустил из виду тот факт, что если к этим гипотезам отнести серьезно, холизм окажется не только теоретическим достижением, но будет иметь также и практические следствия. Даже в математике, арифметике и дифференциальном исчислении законы можно сделать оперативными: эти законы являются частью холистского пучка, который с самого начала предполагает экспериментальный результат — ваши предсказания. Поэтому попытка Карнапа объяснить, почему математика имеет смысл, хотя и лишена содержания, была не нужна. Кроме того, холизм помогает нам понять необходимый характер математических истин, который Карнап старался разъяснить с помощью понятия «аналитичности», неразрывно связанным с противоположным понятием «синтетичности».

В таком случае возрождение холизма является решающим пунктом Вашего отхода от Карнапа и от логического позитивизма?

Безусловно, он знаменует мой отход от Карнапа. Сейчас я смягчил крайности холизма моих первых сочинений. Если принимают холистскую гипотезу, то приходят к выводу, что, за исключением логики и математики, существует только одна наука. Напротив, за пределами логики и математики существует не только сумасбродство. Сейчас я думаю, что имеется не только одна наука, но довольно большой пучок законов, которые не могут быть охвачены одной гипотезой. Из достаточно большой связи логически следуют некоторые условия наблюдения, а именно, некоторые категории, определяющие наблюдаемые ситуации. Связь между наукой и наблюдением осуществляется посредством этих категорий, и холизм нужен в той мере, в которой требуется достаточно большая комбинация для применения некоторых из этих проверяемых категорий.

Ваш интерес к онтологии привел Вас к отходу от аналитической философии, восходящей к Карнапу и неопозитивизму, который остался главным объектом Вашего внимания. Почему это течение мысли, столь отличное от pragmatизма и от какой-либо другой предшествующей американской традиции, достигло такого

большого успеха в Соединенных Штатах после Второй мировой войны?

Соединенные Штаты попали под сильное влияние и английской традиции и совершенно иной традиции аналитической философии, пришедшей из Вены. Я стоял на стороне Вены, хотя Витгенштейн и его последователи, в частности, Джон Остин и Петер Стросон, также оказали на меня большое влияние. Разумеется, чрезвычайно важен был Берtrand Рассел: это был как бы мост между двумя школами, и он сильно повлиял на Витгенштейна. В Соединенных Штатах Рассела усвоили отчасти благодаря выходцам из Вены, и отчасти благодаря британской аналитической философии. В период между двумя мировыми войнами научная жизнь в Америке стала гораздо более интенсивной вследствие притока европейских ученых из Германии и Австрии.

Не думаете ли Вы, что для американцев, все еще увлеченных Новым курсом, эмигранты из Вены представляли также некую либеральную и раскрепощенную форму мышления, противоположную той историцистской иллюзии, в которой часто видят основу тоталитарных идеологий?

Отчасти это верно. Я думаю, антиисторицистский способ мышления превалировал в Соединенных Штатах еще до их прибытия. Для меня важнейшими всегда были научные соображения. Между философами Венского кружка и учеными всегда существовали самые тесные контакты. Филипп Франк, эмигрировавший в США в 1936 году, занял место Эйнштейна в Принстоне, и через некоторое время это привело сюда Карнапа. Мы читали одни и те же книги и учились у одних и тех же авторов.

Имея в виду Ваш отход от логического позитивизма и аналитической философии, Вас иногда относят к «постаналитической» эпохе. Если Вас спросить о каком-либо другом постаналитическом философе, кого бы Вы назвали?

Пожалуй, Дональда Дэвидсона, а также Роджера Гибсона и до некоторой степени сюда же подходит Хилари Патнэм. Не могу исключить Нельсона Гудмена, с которым я вместе работал. Гудмен был аспирантом в то время, когда я уже был преподавателем Гарварда. Мы часто вместе проводили вечера и обсуждали философские проблемы. Все это было очень хорошо, но затем он уехал в Пенсильванию, где провел много лет. Во всяком случае, я испытываю одинаковую интеллектуальную симпатию как к Европе, так и к США, хотя если говорить о Европе, к Англии у меня особое отношение. Несмотря на то, что я провел два года в Оксфорде, и здесь у меня много друзей, мне кажется, Англия не оказала большого влияния на мою работу.

Вспоминая тридцатые годы, Вену и Ваше первое путешествие в Европу, не могли бы Вы сказать, существовали ли какие-либо контакты между Венским кружком и миром литературы и искусства?

В действительности я общался только с философами. Я слушал лекции Шлика по теории познания, которая сильно интересовала меня в то время. Однако главную ценность для меня представляла языковая практика, поскольку, как я уже говорил, немецкий язык был мне очень нужен позднее, при общении с Карнапом и поляками.

А в другие моменты Вашей жизни влияло ли как-нибудь искусство на Вашу деятельность?

В юности на меня большое впечатление произвело одно литературное произведение, безусловно содействовавшее пробуждению у меня интереса к философии, это была «Эврика» Эдгара Аллана По. Я прочитал всего По. Перечитав его вновь несколько лет спустя, я опять испытал потрясение. Космология, на которую опиралась астрономия XIX века, представляла собой очень древний взгляд на реальность и универсум. Меня восхитили его космологические предположения по поводу происхождения планет. Соединение грандиозной картины, изображаемой По, с его великолепным языком произвело на меня потрясающее впечатление. Я занялся сочинительством и

даже пытался писать в стиле По. Я мечтал о карьере писателя. Однако во время обучения в колледже я начал все больше интересоваться математикой и философией, а моя мечта сдаться писателем реализовалась в сочинениях иного рода.

Как же можно было от По перейти к математической логике?

Наука интересовала меня в такой же мере, как и философия. И та, и другая говорили о реальности и универсуме. Теоретические физики занимались философскими вопросами существования универсума. Если бы я не испытывал отвращения к экспериментальной стороне физики, я стал бы физиком. Я не люблю и боюсь машин и механизмов.

Ваши слова пробуждают во мне мысль о возникновении философии и о великих физиках-досократиках — Фалесе, Анаксимене, Анаксимандре. Они были одновременно космологами и мореплавателями, детьми великой греческой культуры — культуры мореплавателей, которая очень напоминает американскую культуру. Достаточно вспомнить Мелвилла!

Я очень люблю путешествовать. Путешествие позволяет преодолеть культурные и духовные границы. Я читал лекции на пяти континентах и посетил сто тринадцать стран. Может быть, здесь сказалось влияние моих предков. Мой отец был одержим машинами, но вообще никуда не ездил, разве что по делам. Однако его отец, а мой дед, был моряком. Может быть, во мне тоже есть что-то от матроса; и я — моряк логики?